ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

КАТОРГА и ССЫЛКА

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

КНИГА СЕДЬМАЯ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

Вл. Виленского (Сибирякова)



ПЕТРОГРАД
1923

СОДЕРЖАНИЕ.

Отдел II

КАТОРГА, ССЫЛКА И ТЮРЬМА

В Мальцевской женской каторжной тюрьме 1907—1910 г.г.

(К характеристике настроений.)

В статье т. Плескова (№ 6. «Каторга и Ссылка»), в связи с появлением романа Ропшина (Савинкова) «Конь Бледный» на нашем тюремном горизонте, вскользь упоминается об обитательницах Мальцевской каторжной тюрьмы, ближайших соседках Горного Зерентуя [1]).

Мальцевитянки, к сожалению, упорно молчат. Надо же, наконец, нам подать свой голос, пока еще не все ушло из памяти, не все вытеснилось, заслонилось более свежим, ярким, захватывающим недавним прошлым и настоящим.

Как одна из мальцевитянок - акутаевок, я хочу нарушить молчание и попробую немного приподнять один из самых, по моей оценке, тяжелых, нескладных и корявых пластов нашей жизни. Это относится к «настроениям» 1907 — 1910 годов, того времени, когда мы, без различия партийности, отражали ярко, сгущенно, почти целиком повторяли «волю». Но какую?

«Волю» со всеми ее упадочными настроениями, со всякими «переоценками», расцветшими после поражения революции 1905 г., «волю» в отвернувшуюся от революционно-общественной деятельности и искавшую «утешения» и смысла жизни во всем, в чем угодно: в боге, в искусстве, в личных отношениях, в порнографии и проч.

Надо заметить, что наша жизнь не была отмечена теми трагическими событиями, какими была переполнена мужская каторга. На нас не только не распространялись репрессии, душившие и калечившие мужскую каторгу, доходившие до предела издевательств над человеком. Мы еще и подобия каторжного режима не видали в эту пору (до 1911 года, когда нас перевели в Акатуй «на исправление»).

Не считать же таким режимом комедию с переодеванием в казенное платье (раз, два с наручнями и кандалами для бессроч-

---

[1]) В Мальцевской женской каторжной тюрьме в ту пору было до 40 политических каторжанок и, наверное, свыше сотни уголовных.

ных), с запиранием камер и прочим маскарадом на время «проезда начальства». Помимо необходимой физической работы — возни вокруг самих себя (уборка, стирка, стряпня, ибо нас не удовлетворял общий котел) — весь свой досуг мы могли тратить по своему усмотрению.

Плевать ли в потолок или учиться, — это определялось собственным настроением да неизбежными в общежитии техническими неудобствами.

И вот, на таком-то сравнительно «безмятежном» фоне вскоре начинают вырисовываться жуткие признаки зарождающегося разложения революционера, *как борца за социализм.*

Первые из них можно уже найти среди первой же «шестерки» с.-р. каторжанок, привезенных в Акатуй в июле 1906 г.

Учуял эти начатки разложения (еще в то время их точно так не определяя) Григорий Андреевич Гершуни, всегда необычайно ко всем и всему внимательный, обеспокоенный «неспроста» задумчивым видом «усомнившейся», — одной из наших сестер, неглупой, серьезной и, казалось, такой крепкой и такой трезвой . . .

Не берусь здесь разбираться в основных причинах и ближайших поводах, порождавших те или иные червоточины, а также сваливать вину на обстановку, на окружающих, не сумевших парализовать начинающееся разрушение. При желании можно найти больше чем достаточно поводов как в тюрьме, так и на воле. Но для меня, как тогда, так и теперь остается несомненным одно: будь у одних просто побольше пороху (столько, чтобы хватило не только на «момент действия», а и на период бездействия), а у других настоящий «ключ», а не какая-то никчемная отмычка к пониманию «сущего» (чего так страстно жаждали все), то как те, так и другие прошли бы невредимыми через все свои терзания и «потрясающие» сомнения, тяжелые «разочарования» в себе и других, через всякие свои и «чужие» безобразия и разные досадные мелочи жизни... Несомненно также для меня, что уже здесь, в нашей наредкость недружной шестерке, было заложено начало «отхода от революции». С переводом «шестерки» в Мальцевскую женскую тюрьму (февр. 1907 г.), с притоком новых каторжанок (с.-р. просто, с.-р. максималисток, анархисток различных группировок и с.-д.) круг «усомнившихся» расширяется, и процесс разложения углубляется. Растет не по годам, а по месяцам, по дням и крепнет дух скептицизма, разочарования, отчуждения, критики и «критиканства», отливаясь в самые различные формы, в зависимости от разнообразия содержания и характеров индивидуальностей.

Недостатка же в разнообразии индивидуальностей у нас не было как среди с.-д., так среди анархисток и особенно среди с.-р., представленных на каторге в большинстве. Помню, как

не раз мы умилялись столь великому разнообразию. «Подумайте, какое богатство! Что ни с.-р., то особая индивидуальность! Какая роскошь!». А вместе с этой роскошью получалась и другая: что ни с.-р., то или особый «оттенок» в теоретическом обсоновании программы, тактики и, в частности, террора, или уж вовсе совсем особое, такое своеобразное миросозерцание с вытекающим из него своим обоснованием деятельности.

Партия с.-р., как известно, славилась свободой мнений, «вообще», и, в частности, «широчайшей» свободой философского мировоззрения. Допускалось иметь каждому свою «философию истории», что вызывало немало недоумений и толков со стороны целого ряда членов партии, считавших крайне необходимой связь программы с определенной, для всех обязательной «философией истории» и пытавшихся (в 1903—1905 г.) этого достигнуть подчас «своими средствами» в ожидании «выявления» более ясного, чем было в программе, мнения руководящих органов.

Эта хваленая широчайшая свобода дала у нас себя знать вовсю. Здесь можно было найти не только уклоны в сторону марксизма, в сторону субъективной школы с теми или иными своими толкованиями, но и еще всякую отсебятину — «политическую», «мистическую» — трудно поддающуюся более точному определению.

Иллюстрировать это можно, показав хотя бы несколько «образцов» наших умонастроений из более или менее членораздельно выраженных.

Так, например, были у нас, назовем условно, «идеалисты», ибо в то же время они и реалисты, поскольку не соглашались с материалистами с одной стороны, а с другой — с идеалистами.

Признавая важное значение экономики, они в то же время противопоставляли себя материалистам, — так называемым «фаталистам», переоценивающим автоматизм в истории. Отрицая причиннозависимость исторических явлений, ограничивались функциональностью. Признавали значение в истории других факторов, напр. «роль сознания». Признавали необходимость «этического обоснования социализма» и в то же время учета реальных движущих сил революции: «не шли с проповедью социализма ко всем под ряд, а только к трудящимся».

Считали достаточным для действия ограничиваться: «относительностью законов истории» (нет «вечных»), «относительностью правды, истины, справедливости, ставя знак равенства между освобождением трудящихся и освобождением человечества», и пр. В арсенале у этой группы, кроме Лаврова, Михайловского и Маркса, были Риль, Гефдинг, Мах, Авенариус, Риккерт и другие представители субъективной школы, марксизма, критической философии и других различных течений новейшей философии.

Часть с.-р. и максималисток и, кажется, не малая, как сами говорили, «шла просто по непосредственному чувству», толкаемая условиями жизни, вдохновляемая героизмом борцов-террористов; как в прошлом, так и в настоящем. Партию с.-р. считали самой «боевой» и «революционной», достойной наследницей «Народной Воли».

Впрочем, среди максималисток была одна самая обоснованная, прошедшая в то время школу марксизма (сначала была с.-д.), оставшаяся в то время при «материалистическом понимании истории»; она обосновала свой максимализм среди многих источников, которыми умела прекрасно пользоваться, между прочим, ссылаясь и на «перманентную революцию» т. Троцкого.

В этих пределах, уже достаточно расплывчатых, было еще не мало различных оттенков и своеобразного толкования тех или иных вопросов теории и практики: то переоценка роли личности, тогда как другие уже избегают слова «личность», а заменяют его «сознанием», и различное толкование тех или иных мест Лаврова и Михайловского, то переоценка этического момента в объяснении исторического процесса с чрезвычайным умалением значения экономики («социализм — категория морального порядка», и переоценка значения террора, роли крестьянства и степени его восприимчивости к проповеди социализма и прочие отклонения, неуловимые мною для определения, или не оставившие в памяти следа).

Но как бы ни велики были в этих группах отклонения в ту или другую сторону, во всяком случае *общее* было здесь то, что все были ***социалистами прежде всего,*** что нельзя сказать о других эсеровских разновидностях, довольно-таки своеобразных и уже в достаточной степени источенных критикой, сомнениями, отрицавших и эсеровские и марксистские и «вообще» всякие «авторитеты»...

Но пределом своеобразия среди них, бесспорно, была с.-р. террористка, прибывшая на каторгу с крестом, с библией и со своим «собственным» миросозерцанием. Тоже из отрицателей, но только со своими специфическими особенностями: на место авторитетов наших — ставила своих святых и выдвигала свои непреложные принципы, но уже такие, каким даже в просторной эсеровской программе не должно бы найтись места.

Никаких новых откровений, принципов, «авторитетов» тут, конечно, не было, как и новых источников мудрости, прочнее, чем наши, укрепляющих революционную деятельность. По выявленному ею так или иначе — словесно, в действиях, в жизни, — я по крайней мере усвоила лишь немногое:

1) критику ограниченного человеческого разума и опыта,

2) утверждение «авторитета» всепроницающего, чуть ли не божественного чутья, расширяющего область нашего познания.

В конце же концов все это сводилось к утверждению «авторитета», «бога» со всеми евангельскими истинами, в толковании ли Толстого, или Владимира Соловьева, или своим собственным — это безразлично в данном случае.

А уже обоснование террора этой интересной христианкой, с крестом и бомбой, было столь неожиданным (в устах, конечно, с.-р., да еще террористки), что было от чего рот разинуть нашему брату, несмотря на всю эсеровскую «широту». Согласованное, очевидно, как-то с общим мировоззрением, с любовью, как христианским средством спасения мира, оно выражалось, примерно, так: «надо отдавать самое дорогое за други своя — душу свою. Я и отдаю самое дорогое: фактом убийства человека поступаюсь своим нравственным чувством».

Такими представляются мне в общих штрихах основные виды эсеровских умонастроений в Мальцевской, попавшие так или иначе в поле моего зрения и, разумеется, не исчерпывающие всех, быть может, и еще не безынтересных сторон, уклонов, особенностей...

Совершенно естественно, что в такой, чрезвычайно пестрой среде, не скованной к тому же стальной идейной спайкой, даже внутри партий и групп, без осознанной исторической перспективы, с ослабевшей «без режима» революционной дисциплиной (не надо было быть постоянно «на-чеку») и с изрядным «запасцем» камушков за пазухой против своего же дела, — при всех этих условиях могли быстро пустить корни всякие сомнения и разрастись в настоящую «переоценку всех ценностей», модную уже в то время на воле. Так и вышло.

Разрослись во всю: и вширь и вглубь и дошли до точки...

Подвергли проверке, пересмотру не только программы — максимум, минимум, средства борьбы, поставленные в связь с общим мировоззрением.

Нет. Этим не ограничивались.

Начав перетряхивать самые элементарные, общие для всех социалистов положения, решенные, казалось, уже самим фактом вступления в ряды борцов за интересы определенного класса, поставили под сомненье основные цели борьбы и докатились «до порога всех жизненных загадок»...

В записной книжке одной из наших каторжанок, как раз признававшей необходимость обязательной увязки программы с общим миросозерцанием, можно видеть, куда направляется мысль тех, у кого «рушится все, построенное на вере».

«Янв. 1909. О философии и программе».

«Для меня здесь существует прямая связь. Что такое программа? Идеал или цель? Последнее может быть или выводом, или предпосылкой известного мировоззрения. Если он (повидимому, идеал) не принимается непосредственно, как предпосылка, связь между программой и философией становятся теснее, ибо тогда я имею дело уже с выводом неопровержимым, на основании логических доказательств. В данный момент, когда все, построенное на вере, на непосредственном чувстве, рушится, очень понятно, что люди идут обратным путем и стараются вывести из всего мировоззрения то или иное положение.

«Мне кажется, что такая независимость программы от философии может существовать только в младенческом возрасте партии или в период непосредственной борьбы. А в моменты бездействия, критической проверки, а, может быть, и колебания прежних убеждений, естественно, берешься за проверку той связи, какая существует между программой и, следовательно, теорией прогресса с общим мировоззрением. А если последнее тебе говорит, что нет прогресса, что цельность и гармоническое развитие личности может быть и совсем не нужно, тогда едва ли останешься при прежних предпосылках или выводах...

«Дело именно в том, что в период сомнений лишаешься *основной предпосылки: оправдания своей жизни,* а путем умственной работы найти его не так-то легко. Для этого нужна *переоценка всех ценностей,* и не ограничишься здесь одной теорией прогресса, за каждым «почему», возникает новое «почему».

И дальше, намеченная 20 января 1909 г. выписка, показывающая, что уже началось «заглядыванье» «по ту сторону жизни», «добра и зла»...

«Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтоб продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено. Для каждого лица, неверующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в свою противоположность прежнему, религиозному, и эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Заглянули, наконец, в «жуткую пустоту и бездну»... Начали искать все заново.

«Смысл жизни и ее оправдание, — в чем истина, где правда? Где истинный критерий добра и зла, справедливости и

нравственности? В чем прогресс, нужен ли социализм? «Какие истинные пути к спасению мира» и т. д.

Определение всех этих понятий с точки зрения того класса, интересы которого они взялись защищать с оружием в руках, — их не удовлетворяет.

Им подай «абсолютное».

Как сейчас помню, особенно отчетливо, отчаянные поиски «прогресса» целой группой с.-р. и анархистов. В чем же прогресс? где он виден?

«Ведь не становятся люди нисколько, ни в чем лучше, нравственнее»... (с какой точки зрения — неизвестно) кричит, заламывая руки, наглотавшись Достоевского, близкая к припадку одна из многих сбившихся с дороги, замученных исканиями новых путей и «начала» всех начал.

«В чем оправдание нашей борьбы да еще с оружием в руках?» «И какой смысл?»

«Может быть, гораздо больше можно сделать другим путем, может быть просто влиянием своей личности» (т.-е. хорошестью своей заражать окружающих)?

«Почему надо итти обязательно таким узким путем — классовой борьбы». «Кто сказал, кто доказал, что социализм нужен». «Какое право мы имеем бороться?»

«Кто сказал, что надо непременно бороться за интересы трудящихся только? и. т. д., и. т. п. без конца...

Вот это «кто сказал» «кто доказал» (особенно одно время) звучало непрерывно, висело над каждым шагом, цеплялось к каждому большому и пустяковому поводу, как самый «липучий», заразительный припев, действующий на окружающих «омерячивающе». [1]) Это «кто сказал», неслось, главным образом, со стороны полных отрицателей и полуотрицателей с их сторонниками или подражателями. Они же бесконечно много разбирались и в других мотивах революционной и повседневной деятельности с целью определить: «от ума» или «от сердца» «непосредственно» тот или иной действует. При этом чистота и «ценность» определялась за действием «по чутью», по непосредственному побуждению.

«От ума», «по чувству долга» или непосредственно ты бросаешься в бой, борешься за социализм, а также... вот сейчас выносишь «ряжку» с помоями?

— По желанию, или по необходимости, или из чувства ложного стыда, или чтоб казаться лучше, чем ты есть на самом деле, «казаться добродетельным», ты помогаешь в чем-нибудь другим —

---

[1]) Термин, употребляемый Н. К. Михайловским и означающий подавление сознания. *Редакция.*

учишь ли малограмотного, стираешь ли за больного, — и еще, все в таком роде неустанное искание самых, что ни на есть, непосредственных, стало быть, чистых, искренних «без фальши» побуждений к тому или иному действию.

И это по каждому пустому поводу, не подлежащему спору не только в товарищеской среде, но обычно просто разрешаемого в порядке самого плохонького соседского обихода.

Как одна из иллюстраций к подобным изысканиям, доходившим до самого утонченного исступленного резонерства, убивающего волю к действию, такое, например, «замечательное рассуждение», им же не было числа:

«Почему я непременно должна дать чистую рубашку пришедшей с этапа? Кто это сказал? А если я не хочу?» «Что лучше (т.-е. честнее, чище) — дать, когда не хочется или не дать».

Это как будто мелочь, праздная болтовня, которую следует пропускать мимо ушей, но в том то и дело, что в подобной долбящей болтовне, изо дня в день повторяющейся, формулировалось настроение среды, с одной стороны, мало того, что допускавшей такого рода резонерства, своим пассивным отношением показывающей общую расхлябанность, но еще и одобрявшей. Недаром же подобные «смелые» высказывания считались самыми «искренними, правдивыми, «должными подражанию»: «Многие про себя, может быть, еще и не такие вопросы задают, а только помалкивают по тем или иным соображениям» . . .

В связи с разбором «мотивов действия» выплывает старинный спор, казалось, тоже в социалистическо-революционной среде неуместный, решенный—это «что вперед должно быть изменено— среда или человек»? Констатируется на каждом шагу «несовершенство» взявшихся за меч, зовущих на борьбу за переустройство мира, и возникает вопрос о «праве» на эту борьбу, о праве учить других, когда сам оказываешься еще недостигшим совершенства, не социалист в жизни, не любишь людей и пр. И как бы в дополнение к последнему появляется в 1908 г. «Любовь к дальнему и ближнему».

— «Позволительно ли» бороться за социализм, ограничиваясь лишь любовью к дальнему, т.-е. своей идее? . .

— Способен ли ты сочетать любовь к дальнему и к ближнему? А к какому ближнему? неизвестно. Обеспокоенные любовью не только к дальнему, но и к ближнему, так и не выяснили, кого же, собственно считать ближним: всех ли людей под ряд или только товарищей по партии, по борьбе, и тех, за чьи интересы идет борьба. Поскольку помнится мне, привезшие в Мальцевскую «любовь к дальнему и ближнему», тоже искавшие абсолютное, находили, кажется, одного счастливого обладателя этой «гармо-

нии» — Григория Андреевича Гершуни, умевшего сочетать любовь к дальнему и ближнему (как им казалось)...

Всего клубка вопросов, изводящих мальцевитянок, я не развертываю, да и не все мне известны. Так безнадежно путались и мучились искавшие «абсолютное» в мире, разделенном различными интересами, пытаясь определить понятие истины, права, справедливости, совершенства, красоты и прочего, либо «самостоятельно» дойти своим (якобы) умом «без книжек», без «авторитетов», либо опираясь на свою непоколебимую веру, идя какими-то своими, «новыми» путями, упорно, сознательно отварачиваясь от того выхода, какой указывали не только основоположники марксизма, но и народничества, чем не мало мешали тем, кто просто еще не дошел до этой двери, а не то, что сознательно не хотели ее видеть.

Конечно, для «индивидуалистов» и для всех, стремящихся расшириться (не разрешив элементарных основных задач, стоящих перед социалистами) и унестись «в беспредельные высоты духа», была неприемлема, как слишком «узкая», «примитивная» та формула, которую принимали некоторые из эсерок тоже с наклонностью к «умствованью», но все же оставшиеся на прежних устоях.

Замени интересы личности интересами трудящихся масс — вот тебе пока будет «абсолютное», подведи сюда всю историю и философию, и хватит на целый век еще борьбы за него...

Проявлялось «нарушение душевного равновесия» у каждого по-своему и не проходило бесследно для окружающих, одни — тихие, замкнутые, изживающие в себе свои самые тяжкие сомнения, делясь только с единицами, не оказывали разлагающего влияния на окружающих.

Другие, более экспансивные, шумные, не умеющие молча носить в себе муку, втягивали в круг своих сомнений окружающих из колеблющихся или им симпатизирующих. Среди шумных, были и совсем буйные. Эти с каким-то задорным «шиком» и надрывами, совсем на манер «Записок из подполья» Достоевского критиковали, оплевывали все, что под руку попадется: и принципы и авторитеты.

Всем попадало: живым и мертвым, «далеким» и «близким», «большим», «малым» и «средним».

Эта самая «дерзкая» форма проявления смятенного духа больше всего заражала и без того уже «тронутое», весьма экспансивное большинство и вызывала попытки к подражанию, порой, жалкому, смешному (вроде выделения из коммуны)... Но не проходило бесследно такое «беснование» и для меньшинства, не поддававшегося разъедающим сомнениям «по всей линии», — не дошедшего еще «до точки».

Да. Задевало и этих. Но с какой стороны? Заставляло прятать поглубже свое самое дорогое, выдержавшее жестокую проверку, от брызг пены беснующихся.

Этим я не хочу сказать, что оставшиеся верными своим «заветным лозунгам» сами были в белоснежных одеждах.

Нет. Ничего подобного!

Чистотой принципов никто не блистал у нас, и ни в каком отношении.

Все, и по всей линии, в той или иной степени проштрафились — не выдержали экзамена: и по отношению к своим принципам и к товарищам, к революционной этике, в отношении к тюремной тактике, к начальству, хотя никаких «правонарушений» — как подачи о помиловании или выдачи товарищей, какие-нибудь «шуры-муры» с начальством, — мы не совершали и слыли весьма «строгими насчет манер».

Еслиб я позволила себе исповедываться, так могла бы напомнить те моменты и «из домашнего обихода» и из «тюремной тактики», когда думалось и иной раз высказывалось: «стыдно будет на воле глаза поднять», а между тем как будто никаких особых грехов и не было... Но не в этом сейчас дело. Я хотела только сказать, что *ни для кого,* не только для слабых, но и для более крепких, не могло пройти бесследно в нашей, поневоле омерячивающей среде, это невыносимое иной раз, продолжительным градом сыплющееся, изуверское какое-то хлестанье и себя и других по всем местам. Это была как будто самая яростная, слепая месть «за утерянное»...

Взять хоть бы «гоненье» на осмелившихся взяться за меч, не выдавших себе предварительно паспорта на совершенство, не расписавшихся в любви и уважении к людям.

Или этот вечный анализ мотивов к действию?

Кажется, нелепость требований подобных критиков, если их кто-нибудь стал бы последовательно проводить в жизнь, ясна...

И революция не станет дожидаться, пока революционеры разберутся, «от ума» или «от сердца» они принимают в ней участие, или пока признают себя безгрешными.

И в общежитии человеческом можно было бы «завшиветь», одичать и физически и духовно, если быть последовательными, с точки зрения этих «принципиальных» отрицателей всяких принципов, и сидеть сложа руки в ожидании, когда, наконец, снизойдет на тебя благодать. Ясно, но между тем не сразу, и устоявшие «забронировались» от этих «беспринципных» обличителей, оказавшихся не в пример строже «ходячих принципов».

Да и сама «броня» недешево обошлась укрывшимся за ней: она была приобретена за счет сознательного понижения активности, энергии, работоспособности и влияния на окружающих.

Как темы исканий, так и источники, к каким припадали жаждущие (кто с надеждой найти «точку опоры», а кто без всякой надежды на какое бы то ни было утешение), были те же, как и на воле — от Достоевского, Мережковского, Шестова, Владимира Соловьева и прочих модных философов, художников, беллетристов-пророков до Санина, мертвой зыби и порнографии разных сортов, вызывавшей не мало толков насчет сомнительной «широты», сводившей всего человека к половой клеточке и прельщавшей многих бесстрашным вскрытием человеческих слабостей, человеческой «преисподней».

И все это было естественно. Так должно было быть, раз сомнения и искания вылились за пределы согласования программы с философским мировоззрением, раз «за каждым почему возникают новые почему».

Но, конечно, нельзя сказать, что «ищущие» ограничивались чтением только указанной литературы.

Нет. Часть из поколебавшихся пробовала, как будто, даже всерьез учиться, — от арифметики и до философии.

Но как они подходили к книге? В книге они видели «фигу».

— Ваше счастье, — говорили они тем, кто еще не разуверился во всем на свете, — что вы ожидаете найти в книге нечто положительное — во всех этих ваших историях, социологиях, первобытных культурах и прочих премудростях... А мы знаем заранее, что мы там увидим... только фигу. — Или:

— Мы читаем лишь бы читать, лишь бы убить время «как-нибудь» да «и на воле, авось пригодится»...

И сидели временами очень усердно за учебой, как будто у них была более определенная цель, а не «авось»...

В таком роде высказывались как те, кто не принимался вовсе за систематические занятия, так и те, кто, как будто, добросовестно засел за учебу.

Не обходилось тут, иной раз, и без снисходительной иронии по отношению к тем, кто в науке искал подкрепления своим взглядам. «Чудаки»...

«Пусть, мол, читают, пока тупы, или наивны, или неспособны «ни понять, ни принять» всех тонких и сложных переживаний поколебавшихся, или во всем разочаровавшихся»...

Не знаю, на какие положительные размышления и выводы наводили поднимавшихся «на высоты духа» Мережковский, Санин, «мертвая зыбь», разные «морские болезни» и разные «проблемы пола»...

Может быть там вырабатывались какие-нибудь необычайные теории отношений между людьми и полами. Может и находили «идеал» в личных отношениях...

Но во вне проявлялось лишь отрицательное влияние всяких изысканий, укреплявшее все больше сомнения «в прогрессе человечества» и в необходимости борьбы за него, углублять и без того чрезвычайно болезненный скептицизм.

Припоминается, как особенно уродливо-болезненно реагировали некоторые из нас на «Тьму» Андреева, упавшую на сильно изрытую уже всякими терзаниями почву.

Едва ли не самое острое из них было признание своей негодности перед лицом «масс» — в лице солдат, матросов, осужденных за восстания, и перед массой уголовных. Негодность эта проявилась в нашем неумении подойти к ним, или, как тогда принято у нас было говорить, «слиться с массами».

Обнаружилось это в 1906 году тоже в среде «шестерки».

Уже тогда мы (грешны в этом особенно я и Школьник) много вели праздных и непраздных, порой, разговоров на эту тему, хотя всерьез и искренне себя изводили.

Мы убедились, за короткое наше пребывание в Акатуевской мужской тюрьме — от июля 1906 до февраля 1907 — что куда легче было пропагандировать, агитировать в кружках, на массовках и быть в прекрасных товарищеских отношениях с рабочими, солдатами и, даже больше, — куда легче итти на смерть, чем здесь, не на баррикадах, а в «повседневной жизни быть хорошими товарищами»...

Оказалось, мало быть учителем, пропагандистом, хорошим товарищем, охотно делящимся своими знаниями. Надо было сверх всего этого еще чем-то обладать.

Надо иметь еще какие-то данные, быть способным принять каждого товарища со всем его содержанием, таким, как он есть в будничной обстановке, со всеми его запросами, большими и маленькими.

Мы не сумели быть «всегда готовыми», к великому огорчению Григория Андреевича Гершуни, которому (по-моему) вполне это удавалось, без всякой натяжки, без святости, по здоровому, без всяких интеллигентских вывертов.

Зато «массы» ему и открывали самое лучшее свое: он сам им в этом помогал, он умел в каждом из рядовых членов нашего общежития откопать самое драгоценное из-под всякого мусора, у всех в избытке накопленного...

Потом как будто заглохло наше беспокойство.

В Мальцевской помнится мне, в разговорах с одной из с.-д., мы констатировали уже более спокойно, с грустью, что и по этой линии (как она выражалась) «экзамен вы не выдержали», как и по другим.

Вдруг «Тьма» снова громко разбудила задремавшую боль.

И вызвала совсем нездоровую реакцию со стороны некоторых из «совсем уже готовых», источенных, кажется всеми червями сомнений, какие только есть в природе.

Последние, совершенно безоговорочно, нашли в герое «Тьмы» пример, достойный подражания.

«Вот это действительное настоящее слияние с массами».

«Так именно и надо делать».

«Целиком раствориться» и. т. д.

Другие возражали, указывая на то, что такой способ слияния есть безграничное приспособление, ведущее к полному отказу не только от тех своих наклонностей, которые, допустим, можно или надо побороть, но и от того твоего «самого дорогого» и «главного», за что ты готов и дальше бороться и смерть принять. Надо ли отказаться от «привилегий», отличающих «уголовных» от «политика» (обращение на «вы» и прочее), привилегий, купленных страданиями и борьбой наших предшественников на каторге.

Каждый остался при своем.

Не помню, почему уже не приведено было в исполнение желание некоторых просить начальника перевести в камеру к уголовным для слияния с ними...

Это, впрочем, не одна из наших неосуществленных больных и здоровых реакций.

Много у нас их таяло.

Да, много таяло. Но все же не все растаяло, как из положительного — здорового, так и из отрицательного. Кое-что осталось.

Положительному, проявленному во всей красе в период 1911 — 1917 г., надо посвятить особое место, как самому светлому (с моей точки зрения) периоду, богатому всеми, возможными при той обстановке, достижениями.

Это была на редкость простая, чистая, правдивая жизнь, несмотря на то, что ангельским характером никто похвалиться не мог у нас.

И если мы не провели во всей чистоте принцип и в работе и в распределении материальных благ: «от каждого по силам и способностям и каждому по потребностям» и, если мы не могли с радостью браться за всякий физический труд и нарушалось у нас правильное сочетание физического и умственного труда, то этому причиной были не мы... Все же мы были каторжные, лишенные прав, не целиком сами распоряжались своими силами и временем.

Это было уже не Мальцевская... Мы уже обязаны были, в какой бы деликатной форме нам это ни преподносилось, обязаны были, помимо работы на себя, отдавать часть своего времени «на казну». Пусть хоть для видимости, — ибо нас никто не учитывал, и мы, например, в своей переплетной мастерской без всякого

надзора могли, если хотели, заниматься своими делами, но все же мы были на казенной работе, как бы она ни была обставлена, и свободой Мальцевской уже не пахло. . .

Но, отодвигая пока светлое, возвращусь к нашему темному, не растаявшему целиком, кое-что слилось в своего рода «заповеди», характеризующие, главным образом, отход большинства с революционно-социалистических позиций. Отпечатались они на общем фоне забвения слов: «партийность», «социализм», «товарищ».

Это забвение (или, как бы, забвение для некоторых) стало у нас в роде «хорошего тона», вошедшего, будто незаметно, в обиход, но на самом деле дорого каждому стоившего.

Если упоминались эти, прежде для многих святые, слова, то — одними в кавычках, с иронией (или еще как), или исторически — когда, мол, мы еще думали, что мы социалисты и товарищи. . . а другие, те, кому попрежнему остались дороги эти слова, старались всуе их не упоминать. . . Где уж тут освещать каждое явление общественной и личной жизни «с революционно-социалистической точки зрения». . . Как это можно. . . Тут столько широких, с глубочайшими, тончайшими запросами личностей, столько «драгоценных чаш, до краев переполненных прекрасным содержимым», «цветков прекрасных», «благоуханье» «мимоз» всяких. . . И вдруг к ним подходить с каким-то грубым, узеньким аршинчиком. . .

И попадало же от этих мимоз тем, кто пробовал, со всеми четырьмя лапами, грубо наводить демократическо-социалистические порядки. Правда, иной раз эти «полицейские меры» (по определению «цветков») вызывали протест и отповедь хорошую со стороны сторонников «социалистических порядков», вопреки всяким своим «сквернам», считавших себя еще социалистами. . .

Но теперь я думаю, что куда лучше было быть «полицейским социалистом», проводить свою линию всеми способами, во что бы то ни стало, а не отходить пассивно в сторону и копить, копить в себе злобу, ненависть, пакостить себя напрасно всем этим добром и убивать активность. . .

Итак, под знаком забвения или замалчивания самого главного своего, — в результате беспощадной расправы с самим собой, «с принципами», «с авторитетами» — со всеми прежними верованиями сложились такие заповеди неписанные:

«Никаких ссылок на партийные авторитеты и принципы». «Никаких авторитетов вообще» (плевать на всех!). «Не имеешь права говорить о социализме и бороться за него и тем паче других звать за собой (да еще учить!), когда сам не годен: ни звезд с неба не хватаешь, никакими особенными талантами не блещешь и. . . не любишь всех людей под ряд». «Не суди никого, не карай, на себя погляди». . . («а сама какая», «а сам какой»). «Умей прощать, умей

найти оправдание каждому поступку и «движению души» (как бы он ни претил тебе). И многое в таком же духе... Совсем даже не новое и не сложное, хотя исходило от личностей как будто не примитивных.

Из всего этого некоторые, пожалуй, особенно пытались усвоить последнее. И правда, по части «подведения идеологии» гоже все, что угодно; для оправдания любого поступка у нас действительно были искусные виртуозы-диалектики: любое отрицательное явление могли перевернуть в положительное. Была б лишь охота. С этими «оправдателями», доходившими до крайности, могли поспорить разве только специалисты с обратной стороны, по части плевков во все стороны.

Но о каком-нибудь твердом объективном критерии, оправдании, конечно, здесь уже не могло быть речи.

Ведь вся жизнь, все отношения строились под знаком «свобода» (яко бы), «все от точки зрения» — а какой? Какой хочешь. И в зависимости от индивидуальности: что можно позволить одному (с точки зрения «прощающего»), то нельзя другому.

Как одни из наиболее ярких иллюстраций новоявленной этой нашей способности, применявшейся где надо и где не надо (если судить с точки зрения революционной этики), припоминается мне необычайно-мягкое отношение к одному из боевиков, добровольно последовавшему за одной из террористок, предварительно повенчавшись в тюрьме, по православному обряду.

Мы не ограничились оправданием этого «ухода с поста» какими-нибудь конспиративными соображениями или просто человеческими слабостями. Куда там... Нам этого уже мало было. Вдали от общественной жизни, в погоне за идеалами в личных отношениях, взамен утерянной веры в прогресс общества, иные усмотрели здесь нечто необычайное, чуть ли не «абсолютно прекрасное», и захлебнулись от восхищения:

— Подумайте, какая «великая любовь», пересилила любовь к делу.

Да. Верно, что пересилила и потребовала от революционера самой великой жертвы — измены (пусть хоть временной) своему долгу.

А мы вместо того, чтоб назвать этот поступок своим именем, — раскисли... В нашей жизни можно было найти сколько угодно таких случаев, показывающих, что в своей оценке действий своих ли, оставшихся ли на воле мы уже далеко отодвинули критерий классовой морали, стало быть, и «революционной этики», о которой так любили шуметь...

Правда, для любящих натур и слишком остро чувствующих «грехи» человека прощение, оправдание было, может быть, одним

из способов самосохранения... Как у нас говорили, надо было «уйти во что-нибудь».

Способы такого рода были разные у многих из нас... Но как бы там ни было, «во что» бы тот или иной не спасался — в любовь ли воспрещающую, в книгу, в искусство, в работу, в личные какие-нибудь, на высоту поднимающие отношения, и проч... а в полном смысле уцелевших у нас не осталось: кто оравнодушел безнадежно и «был внутри пуст и мертв» (по собственному выражению), кто больше, кто меньше был пришиблен и выпрямлялся туго, кто не проявлял должной активности... Одним словом, все были с какой-либо трещиной... Даже те, кто смело мог сказать: «Мы знаем все сомнения, знаем, куда уносит созерцание прекрасного в природе, в человеке, знаем все свои «прекрасные» качества... Знаем и отодвигаем. Остаемся верными своим лозунгам...»

Все равно и эти не совсем уцелели, что и сказывалось не раз, хотя бы в отходе в сторону, вместо активного действия. Пресловутая переоценка никому даром не прошла. Всех вымотала, да хорошенько... Поэтому, когда появилось на сцене савинковское разлагающее блудословие в виде. «Коня Бледного», — у нас не нашлось достаточно мощного голоса, твердой руки, чтобы отшвырнуть со всей силой здорового негодования эту мразь и потребовать от партии ответа «за попустительство».

Правда, некоторые пытались подать голос на волю... Но как?

Оторванные от жизни, преисполненные никчемной скромности, доходящей порой чуть ли не до смирения, мы «не считали себя в праве» учить «волю», хотя и видели, что было за что учить и хорошенько... Уже за одно бездействие Б. О., позволявшей свободно измываться над заключенными, заставляя заключенных прибегать к самому ужасному (по возможной кровавой расправе с заключенными) внутри-тюремному террору, как заставили Фрумкину в Бутырской тюрьме... Эта подвижница с.-р. не вынесла режима, прогонявшего заключенных сквозь строй надзирателей, сыпавших удары на голые спины... Но, как у нас ни накипело против «воли», все же мы не были так требовательны, как надо.

И наш голос, часто терявшийся, если и доходил до воли, то с ним не считались...

Не скажу, чтобы все так уж распластались перед «Конем Бледным».

Нет. Не все приняли эту лубочную «смердяковщину» — эту дешевую подделку под Достоевского, даже в толковании Е. Сазонова.

В Мальцевской, среди с.-р. были совершенно ни с какого боку не приемлющие этого «мастера красного цеха» и разделявшие мне-

ние некоторых зерентуйцев (между ними, кажется, был Прошьян) о том, что надо исключить Савинкова из партии.

Но... окрик зарвавшемуся «руки прочь», очевидно, не был внушительным, остался «пустым басом», как многие протесты заключенных...

Таким образом, и на этом последнем примере на всех нас сказалось, в той ли, иной форме и степени, отрицательное, разлагающее влияние рефлексии, рефлексии тяжелой и сложной.

Несомненно, это влияние сказывалось и в те моменты, когда от нас требовалось действие в ответ на расправы в мужских тюрьмах, в ответ на жертвоприношения — протесты, там происходившие.

В связи с трагедиями в мужской каторге, много было разговоров у нас, споров о том или ином способе протеста, о том, нужен ли, целесообразен ли протест и т. д. Здесь тоже были принципиальные своеобразные высказывания против протеста, обоснованные самыми высшими соображениями...

Но этому следует посвятить особое место, как и самой лучшей полосе нашей жизни от 1911 до 1917 г. в Акатуевской тюрьме.

Чтобы не бросать напрасной тени на мальцевитянок, в связи с вопросами о протесте, я должна только здесь оговориться: для меня несомненно, что большинству *жизни своей было не жаль...* А все же молчали.

Очевидно, как ни мучились тем, что происходило в мужских тюрьмах, все же, в конце концов, не было достаточно повелительного стимула к выражению протеста смертью своей...

А. Биценко.

Май 1923.
Москва.